

*Внучке моей*  
*ОЛЬГЕ ГРИГОРЬЕВНЕ*  
*АКСАКОВОЙ*

## **К ЧИТАТЕЛЯМ**

Я написал отрывки из «Семейной хроники» по рассказам семейства гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно: внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с возможною точностью, а как они служат продолжением «Семейной хроники», так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, создающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, — то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица «Хроники» выйдут опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют ее навсегда... Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей.

*С. Аксаков*

## ВСТУПЛЕНИЕ

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

## ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятих годов, предметы и образы, которые еще носят в моей памяти, — кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определённого значенья и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабоосвещённой комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать

вёрст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желаньем ее видеть и чувством жалости: мне всё казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Её образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдаётся в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть тёмное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце её (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Всё было незнакомо мне: высокая, большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых брёвен, сильный смолистый

запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надомною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на чёрную ее косу, растрепавшуюся по худому и жёлтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведённый движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел побереечь сна бедной моей матери, тронул её рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на моё посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длиною узенькою шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наруж-

ным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые, длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после — ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряжённой лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», — которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и наконец залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Я иногда лежал в забытьи, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыханье было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, — что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора — по несомненным медицинским признакам, а окружающие — по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда её не оставляли. «Матушка Софья Николавна, — не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, — перестань ты мучить своё дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь её, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать всё что может для моего спасенья, — и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливая в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханьем — и я, после глубокого

вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, всё это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное моё удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я всё видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаявшуюся мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться — и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли

мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близёхонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слёзы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решила оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров: но всё это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно: оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую

сестрицу: я не мог видеть и слышать её слёз или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести её в другую комнату; но я, заметив это, пришёл в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лёжа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял её разными игрушками или показываньем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворённом прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое вниманье и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая всё свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я всё уже твёрдо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно» — мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и не твёрдо опираясь на

свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или *скупчал*, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тёпленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутёнка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровленье моё считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Всё это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю моё спасение, кроме первой вышеприведённой причины, без которой ничто совершиться не могло, — неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как